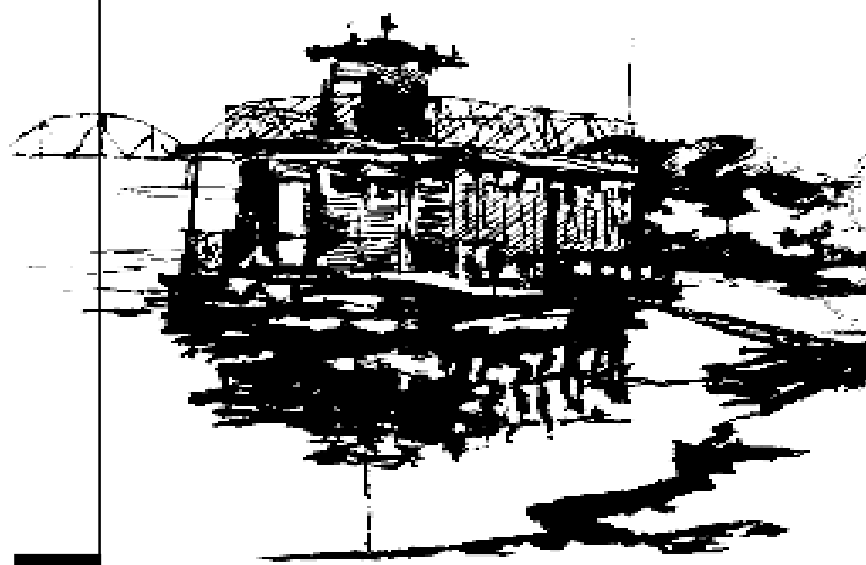


ч а с т ь

ВОЗ- ВРАЩЕНИЕ



Древний город на высоком берегу. Утлые лесенки словно дорога к небу. Снег ноября на одиноких жёлтых листьях. Водопроводные колонки и водонапорные башни. Деревянные мостики через глубокие овраги. Паром, перевозящий машины с сеном. И ещё самоходные баржи, держащие путь в сторону далёкого моря. И ещё засыпавшее эхо от летнего гомона чаек. И одноэтажные улицы. И заросшие парки. И рассекающая город надвое — железная дорога.

Собаки, бегущие в своё собачье Никуда. Кошки, заглядывающие в конические зерла водосточных труб. Старики, торгующие рыбой, яблоками и клюквой. Усталые рыболовы, обмывающие улов на детской площадке. И серебристый колокольный звон, пробирающийся сквозь редкие вечерние снежинки...

1. Выгибание времени

Запах детства. Встреча с городом. Пересечение гиперпространств. Запылённая бесконечность.

Эсинский неторопливо привязал свой плот к заснеженному пирсу опустелой лодочной станции. Собрал свои нехитрые пожитки. Посадил ястреба на левое плечо. Вдохнул полной грудью любимый запах своего детства — запах баржи и прибрежной ивы. Взглянул на снежинки, подсвеченные береговым бакеном-маяком, и медленно пошёл в сторону города.

Это был его город. Город, в котором он когда-то родился. Город, в котором он прожил свои первые шестнадцать лет. Огромные, необъятные шестнадцать лет. Юную искрающую бесконечность от нуля до отъезда.

Он входил холодным ноябрьским вечером в свой город. Он поднимался в свой город, где никто не ждал его, да и некому было ждать, где никто не избегал его любопытного взгляда и никто не дивился его странной одежде. Город, в котором он с придыханием сердца ждал встречи с тем, чему нет имени. Чего не хватало ему там, среди выщербленных пещер и транспортных потоков, среди эстетствующих друзей и хищных женщин, среди выхлопного марева и химической соли зимних дорог. Город, в котором снег тает от человеческого тепла, а не от технического смрада. Город, в котором всё ещё стоит старый дом, вернее, не дом, а памятник архитектуры, где пустует маленькая квартирka, похожая на скворечник, квартирka, доставшаяся ему от деда, квартирka, ключ от которой он носил, как нательный крест. Квартирка, в которую он не входил, с того самого времени, как исчез его сумасбродный прашур.

Обросший странник в прожжённой телогрейке с ястребом на левом плече и соломенной собакой под мышкой шёл по древним и каким-то игрушечным улицам, обходя рытвины двадцатилетней давности, уже давно исчезнувшие с земли, но ещё сохранившиеся в закоулках его памяти...

Он шёл, скорее, по городу-снимку, городу-призраку, по странным улицам-фантомам, которые уже давно умерли, перестроились, переименовались и перекрасились. Он дотрагивался до цветочных урн из сталинского армированного гипса, на месте которых теперь оставался лишь воздух. И то ли пространство сумело запомнить форму, то ли память способна так явно сформировать пространство, но ощущения гипсовой рельефности мягко стучали по подушечкам пальцев, и в матовом свете одинокого фонаря Эсинский разглядел на своих ладонях следы предпраздничной побелки...

Не было ни гипсовых урн, ни революционных праздников, ни демонстраций, но в воздухе всё ещё реяли тени от красных флагов и отзвуки военного оркестра витали над маленьким городом.

И то давнее детское время приблизилось вдруг на расстояние мгновений, а близлежащие происшествия, наоборот, отодвинулись на самый дальний край небытия.

И вот, наконец, города из «тогда» и «сейчас» сошлись на тихом перекрёстке, соединяясь в двухэтажном домике с квартиркой-скворечником, выступающей над общей крышей...

Эсинский нежно погладил дверной косяк, возвращаясь в прошлое через память рук, вспоминающих неровности древнего наличника, снял свой нательный ключ-оберег и... О, этот волнующий скрип старой двери... этот запах пыли и запустения... этот сумрак, сочащийся из узких выступающих окошек...

Отсветы уличного фонаря на сетях тонкой паутины. Некрашенный пол в пятнах от чернил и акварели. Серый бархат двадцатилетней пыли. Бюро из морёного дуба и тяжёлый почерневший буфет. Гнездо старого отшельника, покинувшего мирскую суету. Гнездо святого, приоткрывшего вечность...

Эсинский с тревогой и надеждой посмотрел в Северный угол, желая вновь обмануться. Обмануться, как тысячи раз он обманывался в своём детстве, и... угла снова не было... Стены обрывались, не дойдя с полметра до соединения, и вместо линии примыкания смотрела на Эсинского из его полудетского мира молочно-белая запылённая бесконечность...

Дед на старости лет стал увлекаться составлением красок и разукрашиванием стен и потолков. И, видимо, подкожный дар художника и поэта помог ему соорудить обманную, **но вовсе не дурную бесконечность**. Бесконечность, которую можно было потрогать руками и которая рассыпалась от прикосновения, превращаясь в искусно разукрашенную стенку.

И вдруг Эсинский увидел, как из пыльной бесконечности просупил полурастворившийся лик деда. Дед улыбался своей отрешённой улыбкой и, должно быть, здоровался с ним. И эта улыбка его разрушала в прах все изворотливые поиски мозга об игре теней и рецептах проступающих красок. Дед улыбался и **жил** в своей придуманной бесконечности. Ирреальная, потусторонняя насмешка над сухим разумом будничной жизни.

Эсинского охватила сладкая блаженная жуть, и неизвестно, чем бы закончился этот эксперимент над подкосившимся сознанием, если бы в это мгновение из «бесконечности» не выскочила мышка. Ястреб сорвался с плеча, вздымая крыльями клубы серебристой пыли и разрезая надвое серую мглу бесконечности. Мышь ускользнула из-под клюва и когтей, и вместе с мышью ускользнул из сердца жёлтый мрак сумасшествия.

2. Влюблённый винодел

Буфетной выдержки коньяк. Влюблённый винодел и дегустатор. Янтарный тост за возвращенье.

Эсинский открыл буфет и достал бутылку Армянского коньяка.

В таких домах почти всегда хранятся коньяки. Покрытые слоями паутины, настоянные в музыке сверчков, они встречаются с неожиданными гостями и для гостей устраивают праздник...

Вот и сейчас.

В осенний тихий запылённый дом ворвался запах ветра и простора, ворвался странный ястребиный крик, дым крепкой Беломорской папиросы, копчёный лёщ, мороженая клюква и Ереванский солнечный коньяк...

— Ну что, мой ястреб? Это ли не праздник? **Как истые пловцы** — глотатели пространств, сегодня мы с тобой отметим новоселье! Вернувшись в отчий дом, откроем «Ереван»...

Ты знаешь, сей коньяк почти что мой ровесник! Буфетной выдержки! В крошечной темноте он ждал меня почти что двадцать лет!

И вот, я пью...

Остывшее сознание сливается с горячим духом виноградных лоз... Какой коньяк! **Должно быть, его делал поистине влюблённый винодел.** И пьёт его влюблённый дегустатор. Влюблённый в жизнь. В растаявшую вечность. В воспоминания о своих «вчера». В густой слой пыли на буфетной полке. В неубранность простого бытия...

Я поднимаю тост за возвращенье... к своим окошkam и своим ветвям, к своим заблудшим мыслям и мгновениям, к заснеженным и мокрым нояблям...

3. Волнение времени

Ноябрьское утро. Девиации курса времени. Любовь. Осень. Вечерняя грусть. Мгновения-медузы. Переполюх пространства. Исчезновение мадеры. Созвездия. Коллапсы. Утраченная мысль. Поиски и находки. Огоньки блуждающих мгновений.

На столе остался недопитый коньяк и недоеденный ужин. Эсинский мирно дремал в старом плетёном кресле, накрывшись выцветшим пледом. Сквозь узкие вытянутые оконца пробивалось в комнату блёклое ноябрьское утро. Северный угол, предназначенный для вечности, превращался в белый экран для единственного зрителя, воспринимающего фильм не сетчаткой глаз, но кончиками подрагивающих ресниц...

На экране проступили контуры захлавленной комнаты. На полу валяются пустые бутылки и окурки от папирос. За столом сидит молодой человек и что-то пишет. Потёртый сероватый листок заполняет собою экран, и на нём со скоростью написания начинают проступать чернильные фиолетовые буквы:

Девиации курса времени становятся всё заметнее. Стали исчезать из жизни целые дни. Ещё вчера было 22-е, а сегодня уже 24-е. Причём, куда девалось 23-е — неизвестно. Быть может, это полночный ветер ворвался в окно и сорвал с моего численника календарный листок? Впрочем, откуда же у меня численник? Нет, тут дело не в ветре... Осень. Осень опускается в душу. «И от инея поздней порой поседеют последние травы».

Причём тут численник? Если в душе осень, то время перестает течь непрерывно, и из жизни исчезают целые дни.

Банально было бы предположить, что я проспал 32 часа. Банально, тем более, что уже очень давно я страдаю осенней бессонницей...

— Понимаешь, кот, — говорит он сидящему на его коленях существу, — иногда коматозные куколки строчек начинают распускаться, и лёгкие бабочки поэм и стихотворений кружатся в беспорядочном восторге на пастбищах некошеной души. Тогда в секундах расцветает вечность и дни проходят, словно взмах ресниц. Откуда знать тебе, пушистое создание, что день уже не тот, что был вчера... Их разделяет меж собою полночь...

Конечно, можно было бы просто забыть о пропаже, если бы она была единственной, но ведь это уже не впервые. И самое странное, что с каждым разом исчезновенья происходят всё длиннее... Эдак когда-нибудь, уснув на пять минут, проснёшься, а на душе морозная зима... Сугробы антарктического снега и белый холод надвигающейся смерти...

*Уткнуться
В мягкий ворох снега
Пылающим лицом.
Такой любовью
Я хочу любить.*

Естественно, причиной aberrаций времени может быть Любовь, и даже иллюзия любви способна на многое. Но когда на душе безумствует осень, то Любовь утихает и ей на смену приходит вечерняя грусть.

*Густая грусть скользнула по душе.
И вдруг почувствуешь, что никому не нужен.
А может, просто выдохся уже?
А может, ещё просто не разбужен?*

Сон. Сон разума рождает чудовищ, а сон души рождает пустоту. Время проваливается в преисподнюю. Числа сыплются в колодезь пророков. Не далее как вчера было 22-е, а сегодня уже 25-е. Два дня канули в лету, и лишь круги на её воде до сих пор удаляются в уставшую бесконечность. А я, стоя на берегу времени, «по просьбе дам, хвостом помазав губы, заговорил на рыбьем языке».

Язык... Пожалуй, лабиринты языка также способны включать и выключать время. Что там день или два, поэты иногда начинают путаться в тысячелетиях. Вчера действительно было 22-е, но ещё неизвестно, какого месяца и какого года. Да и был ли вообще хоть какой-нибудь год?

Возможно, что я когда-то родился, но как-то не верится в то, что умру... И если исчезло из жизни несколько дней, то это не значит, что и вся она может где-нибудь оборваться.

Колодец времени не имеет дна... И поэтому о время практически невозможно разбиться, хотя, конечно же, в нём можно утонуть.

— Послушай, ветер, если ты и в самом деле умудрился сорвать листок с численника, которого у меня никогда не было, то наши дыханья коллинеарны.

Ведь ни ты ни я недолюбливаем медуз.

Эти мгновенья-медузы впиваются в душу желеобразными щупальцами и подчиняют её своим похотливым прихотям, но если душа соберётся с силами и дохнёт на них холодом вечности, то медузы скукоживаются и коченеют, отпадая под ноги ороговелым хламом времени...

При глубоко-бесконечном выдохе кучи окоченелого мусора, наверное, могут достигать целых дней и даже лет...

*Листая тени давних сновидений,
Сдувая пух давно минувших дней...
Ты помнишь, мы сидели на скамейке
У заколоченных дверей
Во взрослый космос.*

*Дрожание ресниц. Прикосновенье
Нежных губ. Рассвет,
Встречающий тумановым покоем.
Улыбка города.
Бессвязный гомон птиц...*

*И в том далёком «никогда»
Секунды
Напоминали белых чаек,
Высматривающих в реке жизни
Серебристых рыбёшек счастья.*

— Да что там время! Время, разумеется, может теряться. И стоит ли удивляться его исчезновению? Но вот пространство! Пространство тоже стало вдруг крошиться! Позавчера исчезла Атлантида. Тот самый материк, где гордые атланты руками притормаживали небо, которое, утративши опору, обрушилось на маленькую Землю. А год назад оборвалась звезда! Одной звездой на небе стало меньше! Лишь дырочка осталась от гвоздя, который прикреплял её к вселенной. Осталась только чёрная дыра, в которую стекается пространство. Остался только галактический мальстрем, в котором тонут даже электроны, и даже свет способен утонуть в его засасывающей пасти. Да что там свет, сегодня испарился... целый литр бахчисарайской марочной мадеры!!!

С утра стояло очень мирно на столе почти что ровно полтора фугаса, а вот сейчас хватился — их уж нет. Конечно, скептик скажет: «Крысы, домовые и пр.» Но просвещённый мозг на это бы ответил вот что: «Конечно, крысы и другие домовые, без всякого сомнения, пьют мадеру, но после этого в обнимку с этикеткой они, как правило, лежат, поднявши лапки, и песни заунывные поют. Когда же крыс не видно и в помине, то виновато, безусловно, притяжение далёких непонятных чёрных дыр».

*О моя возлюбленная Кассиопея,
Помнишь, как 400 лет назад
В твоём чреве вспыхнула сверхновая звезда!
(Возможно, это просто расплавилось чьё-то сознание.)
Космический пожар необходимо было потушить,
И тогда я предложил тебе глоток мадеры.*

*А ты, шоколадная жемчужина из древней Эфиопии,
С густой туманностью, укрывающей сердце,
Помнишь ли, о прекрасная Андромеда,*

*Как ночное небо,
запутавшись в складках плаща,
Вдруг обрушилось чёрной звездой,
И реликтовым светом струилась печаль
Над холодной космической мглой...*

*И этот холод абсолютного нуля
Сковал твою тумановую душу.
Что было делать?
В золотом фиале я преподнёс тебе
Глоточек солнца —
Трёхлетней выдержки отборную мадеру...*

Реликтовая печаль...

Хотя, разумеется, возможно, что всё было по-другому. Возможно, есть какая-нибудь связь в исчезновенье суток и мадеры.

Как истинный учёный, допускаю, что сам я в забытье всё это выпил, и время вместе с этим потерял. Но вот что повергает в глубочайшее сомнение: а) нет сухости во рту, б) нет головной боли, в) коленки не дрожат, и г), и д), и е), и пр..

Хотя все эти постмадерные симптомы могли быть сняты жигулёвским пивом, но, извините, где его достать, когда уже ноябрь на дворе, сиреневая ночь и нету денег?

Вы скажете, подмога сатаны! Но, чёрт возьми, какое ему дело до моего мадерного похмелья? Нет, как хотите, я склоняюсь к небу — к его пробелам или же чернотам, они, я думаю, разрушили пространство и утянули целый литр мадеры.

Но если это так, тогда наступит о п ь я н е н и е вселенной.

Галактики проснуться с будуна. А там недалеко и до коллапса. А на столе ни капли алкоголя. И в кошельке, конечно, ни рубля. Но, впрочем, что ты там плетёшь? Ведь кошелька, как и численника, у тебя тоже никогда не было.

— Коллапсы. Время. Извержение пространства. Всё исчезает. Крошится. Дымится. И что с того? Физический континуум, материя и пр. уже по всем определениям тленны. И в том, что время и пространство исчезают, нет никакой трагедии и даже самой захудалой драмы.

Гораздо печальнее и страшнее исчезновение мыслей. Вот, например, вчера или давно, не помню, но у меня была блистательная мысль...

О боже, как она была красива! Какая глубина! Какая ширь! Какие в ней таились парадоксы! И вдруг её куда-то унесло. Остались только жалкие обмылки. И как ни бьюсь, она всё не приходит...

И строчки уж не те. И образы тускнеют. И чувства. Даже чувства притупились.

Однако стоп! В буфете оставалось янтарных капель двадцать коньяка. Вот мой курсор для поиска пропажи. В парах вина и сигаретном дыме, быть может, и отыщется беглянка?..

Спокойно! Поиграем в детектив. Итак улики, или же следы, обломки, шелуха, осколки откровенья. Их аккуратно вытишем на лист:

*философия продолжений, амнезия истоков,
гостиница пробелов, листопад пропусков,
коллекция нулей, мастерская пустот,
музей бездонных колодцев,
сборник маргинальных межтемей,
лабиринт из нескончаемых тунелей,
подборка галактических тревог,
стихи из запятых и многоточий,
роман на тысячи белых страниц,
город, не имеющий домов,
скважина сквозь вакуум,
млечный путь подсознания,
белый шум головного мозга,
живая трещина в нарисованном небе,
рифлённый абрис ускользающей вечности,
разоблачение облачного блюза,
звезда, ушедшая в космический тираж,
пыльца неуловимых распусканий,
дрожащие огоньки блуждающих мгновений.*

— Огоньки блуждающих мгновений — это неплохо. Пожалуй, в этом есть тихий отзвук той самой исчезнувшей мысли. Естественно, саму её уже не вспомнить, но можно восстановить те следствия, которые из неё вытекали, и те цепочки предикатов, которые пытались её объяснить.

(Интересно, что подумает обо мне соседка, если я зайду к ней одолжиться в четыре часа утра?)

Собственно, речь идёт о дискретности времени. (Идея, конечно, всеобъемлющая, и автор, разумеется, неизвестен.)

Допустим, что существует некий атом, или квант длительности. И наше пространство перешагивает от одного мгновенья до другого, словно божественный путешественник с кочки на кочку перебирается через болото времени.

А между мгновеньями бездонные провалы, недоступные физической реальности, но открытые для вектора сознания.

Между мгновеньями как раз и скрыта вечность, та самая, в которой исчезает время...

Молодой человек подходит к зеркалу и задёргивает на нём чёрные занавеси. Садится на деревянную банкетку и достаёт саксофон из чёрного футляра. И звуки невесомых мелодий сливаются с нервным шёпотом ветра. Превращаясь в странную ультразвуковую песню. Песню, не слышимую для человеческого уха... Ультразвуковые снежинки слетаются к фонарику тёплой души. И тают. Родниковые слёзы мелодий растворяют вселенскую грусть. Мотив любви сквозит живительной метелью. Сугробы нежности ложатся на сознание.

И затвердело-посеревший мир содрогается в чарующем пароксизме песни.

Внезапно музыкант прерывает свою игру, распахивает зеркало и пишет на нём стихи золотистым маркером:

*Я иногда раскладываю ноты
На месте занавешенных зеркал,
И звуки отражённой позолоты
Ко мне приходят на случайный бал.*

*Они кружатся планетарным эхом
Вокруг Земли, как лунный дирижабль,
На грани между вечером и веком,
В тени от занавешенных зеркал...*

Слышится стук в дверь. Молодой человек, покачиваясь, выходит в прихожую. Открывает скрипящую дверь. На пороге стоит девушка удивительной красоты и нежности. В правой руке на коротком поводке коричневый спаниель, в левой — трёхлитровая пластмассовая канистрочка с жигулёвским пивом...

4. Встреча

Девочка с нижнего этажа. Двадцать лет бесполовых блужданий. Коврига хлеба да капля молока.

Эсинский просыпается от тихого стука в дверь. Он, слегка покачиваясь, выходит в прихожую и открывает скрипучую дверь. На пороге стоит девушка в коричневом вязаном свитере, опираясь на костыли. В жёлтой шёлковой авоське покачиваются бутылка молока и батон белого хлеба.

— Простите меня. Я слышала, как вы пришли. Вы кто? Вы внук Василия Тимофеича?

— Ну, вроде бы как внук? А вы? Постой, постой! Уж не Оксанка ли с второго этажа? Но что с тобой? О Боже, проходи! Ведь целых двадцать лет минуло в Лету.

— Олежка!

5. Вторая встреча

Тишина. Непогода. Старые бумаги. Тайные чернила.

Густая неземная Тишина. Лишь за окном бушует непогода. Олег читает старые бумаги, сдувая пыль простуженных времён. И вдруг находит старое письмо, то самое письмо, в котором завещанье.

Ровные каллиграфические буквы и эти, врезавшиеся в самое сердце, слова:

«... Мы живём по модулю минус три. И уходя, я даю тебе первый урок Свободы. Я знаю, тебе будет больно и тяжело. НО это та неизбежная плата за... Впрочем, слепому не объяснить, как пахнут полночные звёзды».

Здесь и должно было кончиться это письмо, здесь оно и кончалось тогда... Но сейчас...

Сейчас в нём появилось что-то ещё. Десяток строк, проступивших во времени. Эти странные тайны чернил и красок, в которые дед добавлял сок первобытных растений, кровь из левой руки и слезу из левого глаза.

Но к чему же разгадывать состав чернил, если до сих пор не доступен смысл слов? И даже смысл написания тех слов...

«Звёзды. Звёзды приоткрыли мне жизнь. Через них, и только в их свете, ты смог бы прочесть мою долгую повесть о смысле. Я оставил её в старой хижине. Ты найдёшь, если подымешься вверх по первому притоку нашей реки, уходящему на Север».

6. Всеобщая ватерлиния

Разговор у границы земли и неба. Игра в классики на квадратах воздуха. Право на город. Влияние катастроф. Несколько слов о кофеине.

Они сидели в старом парке над самой рекой. Безбрежные заснеженные луга сливались на горизонте с облачным небом. Одинокий буксир-утюжок шёл на Север. Снежинки опу-

кались к ним на плечи. И там, среди порхающих снежинок, витал их хрупкий непонятный разговор:

.....

— Я ведь, как и тот утомлённый аргентинец, ни от чего не отказываюсь, просто поступаю так, чтобы всё сущее отказалось от меня. Ведь когда прорывают ход, землю (или что там ещё?), роют, роют и отбрасывают подальше.

— Так, значит, право на город...

— Вот именно, теперь ты близка к истине. Вспомни слова: «*Nous ne sommes pas au monde*». А теперь осторожно заостри эту мысль.

— Пускай нас нет. Но мир, который существует в нас...

— Он жаждет катастроф. Из них рождаются поэмы и поэты. Из них выходят буквы и слова. И снег Любви. И листопад желаний. И тонкий дым движений в никуда.

— Но ведь нельзя же спровоцировать Любовь или Стихи...

— Конечно, нет, но это и не надо. Достаточно не прятаться от жизни и не бояться непонятных снов. Достаточно увидеть отражение своего лица в осеннем небе. Достаточно услышать музыку снежного ветра. Достаточно встретить девушку, с которой ты когда-то играл в классики на весеннем подсыхающем асфальте, и продолжить эту игру на квадратах морозного воздуха...

— Олег...

— Прости, я не хотел сделать тебе больно. Но поверь мне, гораздо страшнее, если начинает хромать душа.

— Я замёрзла. Пойдём пить кофе.

— *Пойдём пить кофе в парковой кофейне!*

Где пучеглазые доверчивые мысли

Толкуются среди разряженных бутылок

И завсегдатаи подсчитывают градус,

Деля его на литры и рубли...

Мы сядем у окна, закажем кофе,

Немного коньяка и шоколада,

И растворимся на границе чашки,

На кончике столовой чайной ложки,

На ватерлинии прощенья и любви...

7. Выбор выбора

Хаос в утренней кофейне. Демонстрация счастья. Прологомены романа.

В кофейне-стекляшке за столиком с белой скатертью в красную клетку их обслуживал толстый загорелый буфетчик в засаленном халате. Сиреневым дымком дышало кофе. И лампы отражались в коньяке. Оксана грела замёрзшие руки об горячую чашку. Эсинский отогревался всей душой в этом воздухе, знакомом с самого детства.

— Я предпочитаю необязательность планомерности. Я равнодушен к порядку. Мне нравится хаос, буря, лёгкое безумство. Мне нравится покой и тишина. И этот кофе в утренней кофейне. И северный ветер, запутывавшийся в моих волосах...

— Однажды, когда я была ещё совсем маленькой, мы пошли с отцом на Первомайскую демонстрацию. Он посадил меня к себе на плечи. И подо мной расстиралось огромное море простого человеческого счастья. Люди несли бумажные цветы, привязанные к распускающимся веточкам берёзы, красные флаги и воздушные шары, они кричали ура и пели песни. Два раза в год людей заставляли выходить на улицы и радоваться. И, как ни странно, всеобщее единение и ликование срабатывало. Разноцветное счастье каким-то непонятным

образом удавалось поймать. И эти ежегодные, по всей своей сути абсурдные, демонстрации, не протеста, но поддержки чего-то, о чём толком-то никто и не помнил, становились настоящей демонстрацией счастья.

— Счастье — это черта характера.

Поверь мне, среди твоих демонстрантов были невольники Идеи или Антиидеи (что по большому счёту одно и то же), и они были скорее утомлены, чем счастливы. А впрочем, причём тут счастье? Микроскопическая доза героина тоже может сделать счастливым. Я говорю о предпочтении или выборе...

— **Недавно я прочла одну историю**, в которой человек потерял или даже невольно продал свою возлюбленную. Он искал её всю свою жизнь, а потом нашёл в своей дочери и в клубке красной овечьей шерсти...

— Если я когда-нибудь напишу свой роман, то он будет совершенно необязателен и воздушен, как тополиный пух в июне или снег в январе. Каждая строчка будет жить в нём своей удивительной жизнью. Каждая фраза будет полна безумства и любви. Каждая глава будет лёгким поэтическим отрывком. И читать его можно будет, словно сборник стихов, — с любой страницы. Но и, однако, он будет связан единой паутинкой, паучком в которой буду я сам.

— А я бы согласилась стать твоей доверчивой мушкой.

— Мы бы сидели в кофейне-стекляшке на высоком берегу реки и рассуждали о счастье.

— А оно пронзало бы нас сквозь аромат кофе и запах папирос, задерживаясь на ничего не значащих фразах.

— Всё началось бы с того, что однажды один человек (быть может, я) вышел на работу, а по дороге задержался, чтобы увидеть солнце сквозь дворовую арку, там его застал дождь, и ему пришлось согреться портвейном. Потом с ним случилось что-то непонятное, какой-то провал, какой-то выход в совсем иные комнаты и двери, и он очнулся в поезде, идущем к океану, а с ним бы ехала маленькая девочка, которую он вырвал из привокзальной серости...

— Это была бы я?

— Не совсем, но, впрочем, как и в той хорватской повести, я бы узнал в ней тебя или, наоборот, её в тебе...

Потом настал бы длительный период для одиноких странствий и случайных встреч, для снов и грёз, для гроз и вдохновений, для удивительных скитаний и поэм...

— Я бы хотела, чтобы они были вместе, я бы совсем не ревновала тебя к ней, я бы стала ей старшей сестрой, и мы бы связали с ней для тебя свитер из красной овечьей шерсти.

— Видишь ли, все романы текут по своим законам, обязательным или необязательным — это неважно. Мы с тобой можем сидеть в кофейне или на затонувшей барже, или на заброшенной водонапорной башне, или в роскошном европейском ресторане, но мы не сможем никогда сказать того, чего мы не сможем сказать, и мы не сможем сделать того, что мы не сможем сделать.

— Но я хочу, чтобы всё закончилось хорошо, мне не нравятся романы с печальным концом.

— Видишь ли, если тебе заранее известен конец, то стоит ли и начинать писание?

— Тогда не стоит жить...

— Вот тут ты не права. Ведь самая большая неизвестность — это смерть.

8. Вослед Ваноски

Зима. Суп на плите. Газеты. Голоса друзей.

За окном хозяйничает пушкинская зима с чудесным днём, когда мороз и солнце. На электрической плитке варится гороховый суп из пакетов. На кушетке, прикрывшись пледом, дремлет Оксана. Эсинский сидит в плетёном кресле и с удивлением читает столичные газеты. Оказывается, мир здорово изменился. И сегодня (ну надо же!) вся просвещённая

Россия (жалко, не человечество!) скорбит по поводу (подумать только!) полугодового исчезновения талантливого русского поэта (вот оно как!) Олега Эсинского. О Господи! Как, оказывается, у него много было друзей и близких.

«Прошло шесть месяцев после трагического и непонятного исчезновения молодого талантливого Поэта. Поэта с большой буквы.

Чтобы он ни делал, во всём чувствовалось его творческое поэтическое дыхание. Олег Эсинский оставил после себя огромное наследие: это и детские книжки, и тонкая элитарная проза, и пронзительные лиричнейшие стихи, и художественные эссе, и философские трактаты, и даже научные работы.

Сейчас работает комиссия по творческому наследию писателя, и в скором времени планируется выход собрания сочинений».

— Во дают братки журналисты! Так-так! Ну-ка, а здесь?

«Он действительно был поэт! Он был поэтом по жизни! Стоило ему появиться, как тут же начинали происходить События. Олег, словно поэтический катализатор, притягивал к себе всевозможные истории и приключения. Это был Сирано де Бержерак современности, но только без физических недостатков, и, чтобы рассказывать хотя бы о части его похождений, нужно обладать даром Ростана».

— Ну, спасибо тебе, Светланка, вот уж не думал, что я такой.

«Он жил и писал по праву дождя, по праву капель, сходящих на землю. По этому же праву он и исчез из жизни. Я склоняю голову перед его светлым образом и надеюсь, что вскоре всё просвещённое человечество сможет погрузиться в метания его пламенной души».

— Ай да Павел Трофимыч! Во загнул! А это что? Никак интервью со стариной Михеичем?

«В тот день мы отправились смотреть на солнце, но случился дождик, мы спрятались в арке и грелись около костра, потом пришла Венера и нас с нею забрали в милицию, а Олежек остался совсем один и куда-то пропал».

— А это, похоже, Игорёк Окский похвалы расточает.

«Он был добрым, я не помню, чтобы он кого-то ругал, критиковал. Самые суровые его слова были: «Я далёк от этого».

Единственно, что ему никогда не нравилось, это если писатели начинали учить жизни. «У каждого должен быть свой внутренний опыт», — считал Олег, — «и что хорошо для Юпитера, то несъедобно для быка».

У него не было никаких претензий на успех. «С какой стати кто-то должен восторгаться моей поэзией, кроме меня самого?» — говорил он. — «Творчество — это способ жизни, инструмент познания или просто-напросто праздник души, но не нужно искать в нём мессианства, нельзя подчинять его идеологиям, задачам и принципам. Оно самоценно само по себе. И то, что из сотен тысяч слов моё сознание выбрало десяток, осуществив короткий вздох гармонии, в этом уже и есть великое чудо и великий смысл».

Он относился к себе, как к гению, но не считал себя чем-то особенным. «В каждом человеке живёт свой гений, но не каждый в состоянии поверить в него», — утверждал он».

— Неужели я и впрямь был таким умным?

А вот это, пожалуй, интересно... Миша Погарский. Один из немногих, кто был мне по-настоящему близок.

«Возможно, мой голос несколько выбьется из общего хора, но я не могу поверить в то, что Олег погиб. Он просто ушёл. Ушёл случайно, зазевавшись, проспав остановку или сев не в тот поезд. А когда осознал свою ошибку, то не стал исправлять её. Это было не в его правилах. Он очень любил свои ошибки, опечатки, неточности и шероховатости. Если всё это как следует вылизать, говорил он, то можно угодить в хрестоматию по литературе (чего, по его мнению, делать не следовало). Поэзия должна дышать и быть неправильной. Она должна нарушать традиции и каноны...

Возможно, что он поступил сознательно, подобно своему любимому Урбино Ваноски, «который решил чего-то не пережить, то ли бесславия, то ли некой драмы, и покончить, но ещё более решительно, чем просто с жизнью, а именно, что со с в о е й жизнью, в корне изменив её

образ, включая и собственное имя, на манер тех японских поэтов, что к сорока годам, достигнув всего, бросают это всё, исчезают, испаряются и, добившись нищеты и инкогнито, начинают поэтический путь с нуля, как никому ещё не ведомые, но уже наверняка гении...»

И я уверен, что в настоящее время он живёт в каком-нибудь богом забытом местечке и пишет свой поэтический роман, который весь состоит из стихов на осенних листьях, обрывков газет, клочков житейских разговоров и расписаний дальних поездов...»

9. Вдувание и выравнивание

Зимний вечер. Надежда на Бога. Номера. Объявление в журнале «Мурзилка».

Зимний пушкинский вечер, когда за окошком и снежные вихри, и мгла, и буря. А в комнату-скворечник сквозь непроклеенные окна влетает ледяная шелуха. И весь дом слегка покачивается и скрипит. И угол вечности покрылся тонким налётом инея.

Оксана, закутавшись в плед, сидит в плетёном кресле и греет руки об железную кружку с крепким чаем.

Эсинский впервые с удивлением рассматривает пачку долларов, взятых из чемодана на первое время (*и время для рассматривания наконец-то появилось*).

Серозелёный Independence hall, довольный и сытый Франклин, Соединённые штаты, полагающиеся на Бога. И длинный зелёный номер из двух букв и восьми цифр. Вот этот номер и настораживает Эсинского. Он вертит серо-зелёные бумажки и бормочет:

— На Бога. На Бога, конечно, надейся, но и сам не плошай. Это пусть американцы надеются на Бога...

И всё-таки номера должны быть разные! Не могут быть номера одинаковыми. Если номера одинаковые, то это подделка, и причём очень плохая подделка! А значит... значит, Центробанк занимается... Постой, постой! Причём тут Центробанк? То есть получается, что он... Получается, что он вляпался совсем в другую историю... Получается...

— Ты знаешь, Оксанка, похоже, наш роман и в самом деле закончится хорошо! Похоже, завтра мы поедем с тобою в Москву, чтобы дать объявление в журнале «Мурзилка» для дяди Дверкина и Оксаны Маечкиной. Кто такой Дверкин? Дверкин — друг моего деда и мой друг, и друг Оксаны Маечкиной, он когда-то был одним из самых талантливых сомнамбул, но однажды, подобно Мокадасу аль Сафер, полностью утратил свой дар. Кто такой Мокадас аль Сафер? **Согласно Хазарскому словарю Милорада Павича**, Мокадас аль Сафер был одним из самых искусных толкователей снов. Ему удалось ближе всех подступиться к их тайне, в чужих снах он умел укрощать рыб, открывать двери, вообще нырять глубже других, до Самого Бога, Который на дне каждого сна.